В. Н. ТОПОРОВ

«Еще один исключительно оригинальный вариант „петербургской“ историософии <...>»

Еще один исключительно оригинальный вариант «петербургской» историософии[1] засвидетельствован Даниилом Андреевым в его книге «Роза Мира». Три специфические особенности характеризуют этот вариант: *первая* — *«петербургское»* берется здесь как определяющее начало *«российского»*, как некий самодовлеющий и если не все, то главное — судьбу России направляющий центр, независимо от того, каковы желания и намерения эмпирически-реальной России; *вторая* — «петербургское» (как и «российское») рассматривается, строго говоря, не на историческом, но на *метаисторическом* уровне (при этом важно не столько то, что мета-история — «метафизика» истории, но то, что вместо причинно-следственного принципа объяснения используется *телеологический*)*; *третья* — метаисторический метод истолкования «исторических» данных и отмеченная

---

* «Такое положение современного историка — историка в собственном значении этого слова — совершенно закономерно. Для него применение к историческим фактам принципа телеологического невозможно и в самом деле: какая методика позволила бы ему подходить к фактам с вопросом „зачем“? С крутого берега этого вопроса ему не видится ничего, кроме безрежного моря фантазии. Но метаисторику нет надобности суживать свои возможности до границ, очерченных каузальным подходом. Для него — с крутизны вопроса „зачем“ тоже открывается море, но не фантазии, а второй действительности. Никаким фетишем он каузальность считать не намерен и ко многим проблемам подходит с другой стороны, именно — с телеологической <...> Если же историку будет угодно не видеть коренного различия между игрой фантазии и метаисторическим методом — не будем, по крайней мере, лишать его того утешения, которое он почерпнет в идее, будто сидение в клетке каузальности есть последнее и длительнейшее достижение на пути познания». См.: *Андреев Д. Л.* Роза Мира. М., 1992. С. 307–308. [РМ 8.4.5 (3:291).]

роль интуиции в раскрытии тайн метаисторического. Как в центре «российского» стоит «петербургский», так и в центре «петербургского» стоит гигантская фигура Петра, в конечном счете предопределившая и высшие взлеты «петербургского» периода русской истории, и то «злое» семя ее, предрешившее трагедию не только Петербурга, но и всей России. Конфликт между двумя инвольтациями — демиурга и демона государственности, усиливаемый отрицательными особенностями личности императора, прежде всего всепоглощающим духом насилия, с самого начала заложил то, что кончилось взрывом. «Как грандиозна ни была фигура этого императора и сколь провиденциально-необходимой ни являлась его деятельность, — пишет Даниил Андреев, — но двойственность инвольтаций, воспринятых его бушующим сердцем, богатырской волей и дальновидным, но утилитарным умом, превратила родомысла в двойственное существо, перед которым врата Синклита оказались закрытыми»[2]. Здесь лишь вкратце могут быть обозначены основные идеи петербургской метаистории в понимании Андреева. Метаистория Петербургской Империи приходится на второй уицраор[3], период, определяемый уицраорами, могущественными, разумными и исполненными зла существами, демонами великодержавной государственности, играющими в истории огромную, но противоречивую, двойственную роль. Суть ситуации, складывавшейся после Смутного времени, состояла в фатальной невозможности создать светлейшие силы, которые смогли бы оградить народ от опасности извне и распрей изнутри. Все это привело к тому, что «второй уицраор России вместе со своими человекоорудиями — носителями государственной власти — был осенен провиденциальной санкцией как *меньшее из зол*»[4]. Россия была наследственной монархией, и поэтому именно династия сама собой оказывалась в положении главного проводника воли уицраоров. Но династическая цепь была представлена живыми людьми разных характеров и разных достоинств, что обусловило создание некоей шкалы различных степеней инвольтированности. Столкновение воли уицраоров и живой пестроты человеческих характеров оказалось «одним из трагических внутренних противоречий, которое уицраор хранил и укреплял и которое могло возглавляться только наследственным монархом. Принцип наследственного абсолютизма оказывался инструментом крайне несовершенным, ненадежным, искажавшим осуществление метаисторического плана уицраоров постоянным вмешательством случайностей». Именно в этой сфере демон великодержавной государственности уже до Петра I осложнял

свое положение выходами за пределы этики как в силу аморальности уицраоров, так и из-за непонимания кармического закона вин и воздаяний, преступлений и возмездий. В редких случаях кармическая цепь преодолевается вмешательством могущественных провиденциальных сил, и это вторжение их могло быть неким «внешним» резервом. Таким было положение, когда Петр стал русским царем. Нечувствие к кармическому началу, на поверхностном уровне проявляющееся в дефекте «этического», в утрате института «справедливости», осложняло ситуацию еще более. «Умерщвляя своего сына Алексея, Петр I так же мало подозревал о том узле, который он завязывает, как и его невидимый инспиратор»[5]. В записной книжке от 10 марта 1910 года Блок, имея в виду поэму Пушкина, писал: «„Медный Всадник“, — все мы находимся в вибрациях его меди»[6]. Но уже более чем столетие до написания и опубликования этой поэмы петербургская метаистория свидетельствовала о своем нахождении в вибрациях насильственного духа Петра: из тринадцати монархов, занимавших престол после Петра, четверо взошли на трон в результате переворотов, а шестеро погибли насильственной смертью; механизм престолонаследия был надолго разрушен, дворцовые перевороты надолго стали скорее правилом, чем исключением. «Столкновение между волей уицраора и непонятным ему законом человеческой кармы было вторым противоречием народоустройства, которое он охранял и укреплял. <...> Но главное еще не в этом. <...> Цель идеальной тирании маячила перед вторым уицраором сперва как отдаленная мечта, но со времени Петра Великого становится заметно следующее: демон великодержавия начинает как бы раскачиваться между попытками выполнить волю демиурга — и своей собственной тенденцией к превращению государственности в тиранический аппарат»[7]. Российский уицраор окончательно вступил на гибельный путь: санкция Яросвета была утрачена, и он оказался исторически обречен.

Эта обреченность проявилась в «идейной нищете»[8] второго демона государственности, но и сама эта нищета делала историческую ситуацию еще более обреченной. Ко времени вступления Петра на престол у русского народа появилось «смутное, но властное ощущение м и р о в ы х п р о с т р а н с т в ; оно походило на дыхание океана, на пронизывающий, соленый и шумный ветер, вдруг ворвавшийся в замкнутый столько веков мир. <...> Эпоха Петра спасительно перевернула представление русских о человечестве <...> собственный сверх-народ <...> и по объему своему, и по размерам территории, и по ощущению затаенной в нем силы предназначен, очевидно, к чему-то великому

и вынужден нагонять упущенное»[9]. Идея великого будущего России носилась в воздухе, а вскоре и прокламировалась. Но «какое содержание вкладывалось в понятие „великого будущего“ России? Каким культурным или социальным смыслом оно насыщалось?»[10] — эти вопросы не получили ответа, а те следствия, которые могли бы быть расценены как «практический» ответ, поражали «идейной нищетой». Демонический дух государственности и великодержавия неизбежно извращал идею величия, сеял соблазны, и меньшее из зол превращалось в большее — в гибельный путь. Но и во внутреннем пространстве русской и петербургской метаистории следствия действий этого духа были гибельны. «*Первое* следствие — экономическое и культурное. Это — троглодитский уровень материального благосостояния и соответствующий ему уровень требований к жизни. <...> *Второе* следствие — нравственно-психологическое. Это — устойчивые, глубоко вкорененные в психологию народных масс навыки рабского мироотношения; отсутствие комплекса гражданских чувств и идей, унизительная покорность, неуважение к личности и, наконец, склонность превращаться в деспота, если игра случая вознесла раба выше привычной для него ступени. <...> *Третье* следствие — религиозное в широком смысле. Из рабской психологии, из убожества требований и стремлений, из узости кругозора, из нищеты проистек и паралич духовно-творческого импульса. Нельзя сидеть при лучине с раздутым от голода животом, с не обогащенным ни одною книгою мозгом и с оравой голодных и голых ребят и творить „духовные ценности“»[11]. И это — несмотря на то что в лице своих «крупнейших представителей» народ доказал и «духовную свою одаренность» и «глубину и размах религиозных возможностей»![12]

Предвидятся два возражения как наиболее вероятные — при чем здесь Петр и при чем Петербург: одно уже было до них, другого при Петре еще не было, и возникло оно позже. На эти вопросы можно ответить примерно так — при том, что именно *через Петра и через его детище Петербург*, несущее в себе и демиургический творческий гений Петра, и все «злое» насилие своего «строителя чудотворного», прошел главный и определяющий поток русской истории и вобрал в себя все, что мог взять от них, а взяв это наследие и сделав его своим, Петербург не мог не выступать и как субъект гениального творчества, и как субъект злой воли. Творчество тем самым всегда происходило над бездной, во всяком случае то, что связано с высшими взлетами художественного, научного, философского и религиозного гения. Но губил Россию не этот творческий гений и его взлеты,

а злая воля и тот страшный разрыв между ними, между творческим «верхом» и деструктивным «низом», который в течение всего «петербургского» периода русской истории — как его наследие — и посейчас не мог быть заполнен *«средним»* органическим элементом. И еще один ответ, дополняющий предыдущий: мета-история *не может* рассматривать свой объект вне некоей широчайшей панорамы, вне «предсуществования и посмертия»[13] его. А в контексте этой панорамы как раз особенно ясно видно, что некий решающий слом, о котором говорилось выше и значение которого не было и не могло быть понято в узких рамках второго «петербургского» уицраора и тем более во время царствования Петра, произошел именно при Петре и именно в Петербурге, и при этом Петр был активным деятелем: он, несомненно, приподнимался над потоком истории (но не метаистории!), а не был щепкой, несомой этим потоком. То же самое можно сказать и о Петербурге. Несомненно, что эта активность перед лицом истории говорит о великих творческих возможностях и Петра, и его города, но она же не позволяет снять с Петра ответственности и вины (по киркегоровским критериям, Петр невинен, но преступен), очевидной в метаисторическом целом, о котором лучше всего сказал сам Даниил Андреев*. Забыть все то, что думали

---

* «Метаистория потому и есть метаистория, что для нее невозможно рассмотрение ни отдельной человеческой жизни, ни существования целого народа или человечества в отрыве от духовного предсуществования и посмертия. Стезя космического становления любого существа или их группы прочертилась уже сквозь слои иноматериальностей, ряды миров, по лестнице разных форм бытия и, миновав форму, в которой мы пребываем сейчас, устремится — может быть, на неизмеримые периоды — в новую чреду восходящих и просветляющихся миров. <...> И пока мы не приучим себя к созерцанию исторических и космических панорам во всем их величии, пока не привыкнем к таким пропорциям, масштабам и закономерностям, до тех пор наши суждения могут мало чем отличаться от суждений насекомого или животного, умеющего подходить к явлениям жизни только под углом зрения его личных интересов или интересов крошечного коллектива.

Наша непосредственная совесть возмущается зрелищем страдания — и в этом она права. Но она не умеет учитывать ни возможностей еще горшего страдания, которые данным страданием предотвращаются, ни всей необозримой дали и неисповедимой сложности духовных судеб как монад, так и их объединений. В этом — ее ограниченность. Столь же правильны и столь же ограниченны и все гуманистические нормы, из импульса этой совести рожденные. Метаисторическая этика зиждется на абсолютном доверии. В иных случаях метаисторику может приоткрыться то, ради чего принесены и чем окупятся такие-то исторические, казалось бы, бессмысленные жертвы. В других случаях это превышает вместимость его сознания. В третьих — уясняется, что данные жертвы и сами ▶

и могли бы сказать о Петербурге (а иногда и говорили, жалуясь или проклиная) те, чья жизнь была сломана им, те, кто бедствовал, страдал и погибал в нем, сославшись на «историческую необходимость», интересы государства, требования прогресса, — никак нельзя, как нельзя забыть и того, что было обратной стороной этих страданий, этого пребывания над бездной и чего могло и не быть, — высшего цветения творческого гения, оплаченного столь дорогой ценой. Спускаясь от метаистории к истории, от метафизического Петербурга («мета-Петербурга»)[14] к реально-эмпирическому городу, обо всем этом следует постоянно помнить, ибо здесь возникает евангельски-раскольниковский вопрос *о цене крови**.

▶ исторические обстоятельства, их вызвавшие, суть проявления сил Противобога, вызваны наперекор и вразрез с замыслами Провиденциальных начал и потому не оправданы ничем. Но во всех этих случаях метаисторик верен своему единственному догмату: Ты — благ, и благ Твой промысел. Темное и жестокое — не от Тебя. Итак, на поставленный вопрос следует отвечать без обиняков, сколько бы индивидуальных нравственных сознаний ни оттолкнуло такое высказывание. Да, всемирной задачей двух западных сверхнародов («романокатолического» и «северо-западного». — *В. Т.*) является создание такого уровня цивилизации, на котором объединение земного шара станет реально возможным, и осуществление в большинстве стран некоторой суммы морально-правовых норм, еще не очень высоких, но дающих возможность возникнуть и возобладать идее, уже не от западных демиургов исходящей и не ими руководимой: идее преобразования государства в братства параллельно с процессом их объединения сперва во всемирную федерацию, а впоследствии — в монолитное человечество, причем различные национальные и культурные уклады будут в нем не механически объединены аппаратом государственного насилия, но спаяны духовностью и высокой этикой. Этот процесс будет возглавлен всевозрастающим контингентом людей, воспитывающих в новых поколениях идеал ч е л о в е к а о б л а г о р о ж е н н о г о о б р а з а». См.: *Андреев Д.Л.* Роза Мира. С. 320–321. {РМ 9.1.37–40 (3:304–305).} Переклички с книгой К. Поппера «The Open Society and Its Enemies», которую Д. Андреев не мог знать, при поразительном различии контекстов весьма показательны.

* Какова цена крови в истории российской государственности и как она отразилась в судьбах России — царевич Димитрий, Иоанн Антонович (Иоанн VI), Павел, Александр II, последний российский император и наследник, если говорить только о фигурах большого символического значения, и гигантское, всякую мыслимую меру превышающее заклание своего собственного народа в нашем веке, — хорошо известно уже сейчас, но известно ли, что это только еще часть всей цены, что Россия — храм на крови, и цена крови еще не оплачена сполна и что без этой оплаты благой России не быть?